

Пушкинская конференция
в Стэнфорде

1999

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Под редакцией

*Дэвида М. Бетта, А. Л. Ословага,
Н. Г. Охотина, Л. С. Флейшмана*



О·Г·И
МОСКВА
2001

Дыханье девы-розы: автобиографизм «Пира во время чумы»

Тайны счастья и гроба

Дорога, по которой 31-летний Пушкин отправлялся осенью 1830 года из Москвы в Болдино, вела его от Амура к Тименю. Но на пути к счастью жениху то и дело о себе напоминает смерть. Накануне отъезда поэта в Болдино умер в Москве дядя Василий Львович, и племяннику пришлось похоронить его на деньги, скопленные на приданое для Natalie: «Il faut avouer que jamais oncle n'est mort plus mal à propos» («Надо признаться, никогда еще ни один дядя не умерал так некстати» — письмо к Е. М. Хитрово, 21 августа 1830). Из-за дядиной смерти свадьбу пришлось отложить, а после ссоры с будущей тещей Пушкин и вовсе усомнился в успехе своего жениховства.

Разорившийся жених отправляется в свое родовое имение, полученное накануне свадьбы от «скупного» отца, дабы заложить 200 душ и выручить деньги на приданое для невесты, ибо таково было условие тещи. Тема сыновней бедности, прелятствующей кургузным успехам, отразится в «Скупом рыцаре». Пушкин с трепетом и страхом предвкусывает предстоящее счастье с 18-летней красавицей, счастье, в которое он почти не верит. «Je suis l'athée du bonheur» («В вопросе счастья я атеист»), — пишет он в эту осень П. А. Осиповой (57 ноября 1830). На пороге брачной жизни Пушкин прощается в болдинских элегиях («Прощание», «Заключинание», «Для берегов отчизны дальней...») со своим «донжуанским» прошлым, с любимыми женщинами, живыми и умершими, и в завершение пишет «Каменного гостя». В эту осень поэт испытал неожиданный и никогда больше не повторившийся наплыв вдох-

новения — вдохновения столь сильного, что если бы он не написал ничего, кроме болдинских произведений, он все-таки остался бы первым поэтом России. Тайны творчества и ремесла, загадка гения и таланта легли в основу «Моцарта и Сальери». К тому же в Болдине Пушкина окружает со всех сторон «холера морбуса», превратившая эту бессмертную осень в истинный творческий «пир во время чумы».

Раздумья о любви и смерти, о «тайнах счастья и гроба» то и дело всплывают на поверхность чуть ли не во всех болдинских произведениях, раскрывая в них некий призрачный, но вполне реальный автобиографический фон: «Домового ли хорятам, Вельму ль замуж выдают?» («Бесы») или «Но не хочу, о други, *умирать*; Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать... И может быть — на мой закат печальный Блеснет *любовью* улыбокю прощальной» («Элегия»). Рассказ «Гробовщик», с которого начиналась болдинская осень (заключен 9 сентября), открывается зловещим эпиграфом: «Не зрим ли каждый день *гробов...*» и описанием веселой вывески над лавкой гробовщика, изображающей «дорожного *Амура* с опрокинутым факелом». Опять любовь и смерть рядом. А в «Пире во время чумы», одном из последних болдинских произведений, Пушкин снова возвращается к этой теме. К тому же даты его написания (6–8 ноября) совпадают с двумя осенними болдинскими праздниками, которых был Пушкин свидетелем: с «Днем печали» (5 ноября), когда болдинцы поминали на кладбище своих усопших, и с «Днем *веселья*» (8 ноября), когда в селе венчали молодых и пили брату и пиву!

Холера и чума

Накануне отъезда из Москвы, когда помолвка с Natalie казалась почти расторгнутой, Пушкин узнает про холеру. Эпидемия уже настигла Астрахань и Саратов и продвигалась к Болдину. «Если отнята возможность счастья, то остается еще мужество перед лицом смерти, бессильной перед человеком, у которого нет ничего впереди?»

Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатками. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности...

Приятели... упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество. На до-

роге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! Она бежала как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барышни!

Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случилось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохоной («О холере», 1830).

Для разъяснения Пушкин захватил с собой в дорогу английскую книжку, содержащую драму Джона Вильсона «Чумной город», которая и ляжет в основу «Пира во время чумы»³, а уже в Болдине он узнает, что холера подступила к Москве, и что Natalie с семьей не успела уехать:

Страх меня пронял... Я тот час собрался в дорогу и поспекал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава! Нескольку мужиков с дубинами охраняли переправу через каку-то речку («О холере»).

За «серебряный рубль» мужики переправили Пушкина на другой берег и пожелали ему «многие лета». Но последующие карантинные постановления путешественника и ему пришлось вернуться в свою деревню.

Окруженный со всех сторон холерой, Пушкин принимает за перевал «Чумного города» (акт 1, сцена 4). Но в своем переводе Пушкин заменяет «The Song on the Plague» («Песню о чуме») Вильсона своим собственным оригинальным «Гимном чуме»⁴. Поэт прекрасно понимал разницу между холерой и чумой: «в моем воображении холера относилась к чуме как элетия к дифирамбу» («О холере»), а все лекарство от холеры — «один soupape, soupape и больше ничего»⁵. Пушкинский «Гимн чуме» — это истинный дифирамб человеческой удали перед лицом смерти.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бесмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведасть мог.

Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призыванье.
Бокалы пенним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может... полное Чумы.

«Есть упоение в бою» — вот первый постулат этого дифирамба. Упоение это началось для Пушкина еще в Царском Селе, когда лицеисты провожали старших собратев на войну с Наполеоном. Пушкин, естественно, мечтал после лицей поступить на военную службу, но «скупому» отцу такая служба показалась не по карману, и Пушкин стал чиновником. Откомандированному в разгар греческого восстания в Кишинев коллежскому секретарю Пушкину (с окладом в 700 руб. в год) ничего не остается кроме как воображать «упоение в бою»:

Войнал! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мест;
Завищет вкруг меня губительный свинец.
(«Война», 1821)

Были бы у Пушкина средства и свобода, как у лорда Байрона, он тоже заказал бы себе у венецианского мастера шлем, секиру и броню и присоединился бы к повстанцам, как это сделал его герой Сильвио. Но даже в итагской одежде Пушкин не раз доказывал свою удалу перед лицом смерти: так, например, во время одной из многочисленных дуэлей он стоял под дулом пистолета и подал черешни, плюя косточками в соперника (эпизод этот перекочует в «Выстрел»)⁶.

Когда в 1828 г. православный царь наконец-таки объявил войну Турции (за что Гейне прозвал его «рыцарем Европы»)⁷, Пушкин попытался перевестись в армию, в чем ему было отказано. Но год спустя поэту удалось ответить «упоение в бою» сполна. Хорошо известен эпизод во время арзрумского похода, когда он, верхом, в цилиндре, во фраке и бурже, то ли с пикой, то ли с пашкой наголо ринулся на врага, дабы на всем скаку срезать с плеч басурманскую башку. К счастью, русские драгуны настигли беспешабанного наездника и снасли для России ее первого поэта, которого они из-за столь странного наряда приняли за священника⁸.

Но всего лишь год после арзрумского похода, находясь на пороге женитьбы, Пушкин всерьез задумывается о хрупкости человеческой жизни.

Около меня колера морбуса. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! (Плетневу, 9 сентября 1830)

В болдинских произведениях Пушкин сам как бы «исподтишка» пишет такую биографию, в которой смерть то и дело угрожает любви.

Эрос, Танатос и удаль

Из всех болдинских произведений эхо поединка Эроса и Танатоса слышится наиболее отчетливо в «Повестях Белкина» и «Маленьких трагедиях». В «Выстреле», например, Сильвио приходит разрядить свой пистолет во время медового месяца графа с графиней, а статуя Командора прерывает первый поцелуй Дон Гуана с Доной Анной. Но в «Повестях Белкина» все чреватые трагическим исходом ситуации разрешаются победой Эроса. В «Выстреле», «Метели», «Станционном смотрителе» Пушкин соединяет любящие сердца (графиню с графом, Марью с Бурминным, Дуню с Минским) в буквальном смысле «над могилой» утrophавшего их счастья героя (Сильвио, Владимира, Вырина). В «Барышне-крестянке», в этом счастливом эпизоде ко всем «Повестям Белкина», Пушкин ведет Владимира и Лизу под венец уже за сценой, где над «могилой» старинной родовой вражды будет строиться их счастье. Итак, можно заключить, что в четырех повестях Белкина, обрамляющих центральную повесть «Гробовщик» — не зря над лавкой гробовщика красуется «дородный Амур», — Пушкин показал себя и ловкой свахой, и умелым могильщиком. В «Повестях Белкина» (проза) судьба-фортуна, минуя могилу, привела своих любимцев к конечному счастью⁹.

В драматическом же цикле «Маленьких трагедий» (стихи) торжествует неутомимо смерть, перед лицом которой герои предстают с нарастающей удалью¹⁰. Старик Барон страшится смерти, но он «готов, кряхтя, взлезть снова на коня» и «дрожащей рукой» обнажить меч за своего герцога. Барон не задумываясь бросает перчатку сыну, славящемуся своей удалью на рыцарских турнирах. Самые счастливые жизненные минуты Мопарта прерывает «виденье гробовое, незапный мрак, иль что-нибудь такое...», и его преследует «черный

человек». Сальери недогнущей рукой выливает в «чашу дружбы» яд. Дон Гуан бесстрашен до последней минуты: «Дрожишь ты, Дон Гуан» — «? нет. Я звал тебя и рад, что вижу» — «Дай руку». — «Вот она...» Человекская удаль достигает своего апогея в «Пире во время чумы», а в «Песне Председателя» упоение смертельной опасностью (войной, бездной мрачной, разъяренным океаном, аравийским ураганом) завершается эротическим упоением самой гибелью: «И девы-розы пьем дыханье — Быть может... голное Чумы».

Пушкин понимал разницу между холерой и чумой не только в жанровом ключе («элегия и дифирамб»), но и на деле. Холера 1830 года была не первой его встречей с эпидемией. Пушкин вспоминает, как однажды на арзрумском базаре кто-то притронулся к его плечу:

Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен, как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неясного и вошел в домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство однако ж превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палятки вывели нам больного, он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный <...> Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, шупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город («Путешествие в Арарум», гл. 5).

В окруженном холерой Болдине присмиривший поэт не раз возвращается к теме удалы перед лицом смерти. Все лекарство от холеры — «один soufage, soufage и больше ничего». Ярким примером тому служит бесстрашие Наполеона, описанное в стихотворении «Герой». Пушкин прославляет его не на бранном поле, а в чумном лазарете в Яффе, где Наполеон 21 вангоза VII года (11 марта 1799) без всякой «европейской робости» пожимает руки своим прокаженным воинам:

Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царилею болгезней... Он,

Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь ходит меж одрами
И гладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость... Небесами
Клянусь: кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить утасший взор,
Клянусь, тот будет Небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...

Стихотворение «Герой» оказалось двойным дифирамбом: рядом с Наполеоном Пушкин явно курит фимиам и императору Николаю I, возвратившемуся 29 сентября, в разгар эпидемии, в зараженную холерой Москву, «чтоб ободрить» своих подданных¹¹.

Среди этих подданных была и Natalie, не успевшая уехать из Москвы. Пушкин увещевает свою невесту покинуть город и неблаговидное соседство гробовщика Адриана:

Как Вам не стыдно оставаться на Никитской во время чумы?
Это хорошо для вашего соседа Адриана, у которого выгодные заказы. Mais Наталья Ивановна, mais vous! (4 ноября 1830, 9: 361)

В то время как гробовщик Адриан стяжал в Москве неплохие доходы, безденежный богдинский помещик проповодевал в церкви с амвона своим крепостным, что холера послана им Богом в наказание за то, что не платят оброк¹². А невесте своей он пишет:

Ясно, что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не быть. Но не правда ли, вы уехали из Москвы? Добровольно подвергать себя опасности заразы было бы непростительно. Я знаю, что всегда преувеличивают картину опустошений и число жертв; одна молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что от холеры умирает только простое народье — все это прекрасно, но все же порядочные люди тоже должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не их изыскание и хороший тон (11 октября 1830).

Вслед за стихотворением «Герой» Пушкин переводит «Чумной город» Вильсона, к которому он присочинил от имени Председателя свой собственный «Гимн чуме». Лотман справедливо назвал этот гимн «апологией смелости», а Белая

и Виротайнен дают Председателю следующую характеристику: «Отлученный от неба и страшавшийся обратиться в прах человек дерзко и вместе с тем беспомощно баландирует на своей границе между бытием и небытием»¹³.

Стихотворение «Герой», как и «Гимн чуме», — это прописи смелости, катехизис преодоления страха. Подобно Наполеону, Председатель пыгается своим гимном воскресить «бодрость в погибающем уме». Он призывает обреченных наслаждаться всем, что осталось от земных богатств: музкой, любовью и самой жизнью. Но кроме этих последних земных благ, Председатель предлагает своим последователям насытиться и самой смертоносной стихией: упоением в бою, мраком бедны, аравийским ураганом и дыханием девы-розы, полным чумы. Причастившись этих «неизъяснимых наслаждений», смертный человек мнит обрести некое неведомое, дикое «бессмертье». Никакой гость — званый или незваный, «каменный» и любой другой — не в силах приостановить это дионисийское упоение — последнее убежище Эроса.

Из шотландской «Песни Мери» про иную чуму мы знаем, как вели себя предки пирующих в подобную минуту: они оплакивали своих мертвых и «боязливо» молились Богу «упокоить души их». Но беспешабный «пир во время чумы» — это не только подвиг смелости, это и глумление над осязанным веками пиететом перед таинством смерти. Гуляки игнорируют не только метафизические, но и «физиологические» заветы предков, как, например, практический совет Джесси своему возлюбленному: не приближаться к мертвым телам и покинуть селение. В отличие от своих предков, гуляки, не страшась заразы, обнимают трупы родных («Труп матери, рыдая, обнимай») и отлаются «неизъяснимым наслаждениям» на глазах умерших. Вальсингам объясняет Священнику, что он «здесь удержан... И ласками (прости меня Господь) Погибшего, но милото созданыя... Тень матери не вызовет меня Отседа, — поздно», и он желал бы «скрыть это зрелище от очей бессмертных» покойной жены Матильды. В последних, самых страшных и эротически нагнетенных строках «Гимна» чума оборачивается «девой-розой», исполненной желанием и сулящей «залог бессмертья».

Логика дерзкого призыва Председателя — чистейший социализм: если в земной жизни одна только смерть бессмертна, то «залог бессмертья» таится в слиянии с ее стихией. Этот причудливый метафизический «камуфляж», при помощи которого

Вальсингам мнит «попрать смертью смерть», мог удовлетворить иных гуляк, но не Пушкина. Пушкин понимает, что приглашение чумы на пир и совокупление с «Девой-розой» не вполне *de somme il faut* и что метафизическая эта негалантность может вывести из каменного покоя иного ревнивого «Командора». К тому же — и это самое главное — Пушкин знает, что в трагедии последнее слово, как правило, принадлежит пробовшику и что Шекспир называл своих могильщиков «клоунами».

Два пробовшика

Напомним, что московский пробовых дел мастер Адриан, проживавший на Никитской напротив дома невесты Natalie, «отдал напрокат» свое имя герою повести «Робовщик». Следуя его примеру, Пушкин с барского плеча пожаловал Адриану Прохорову свои инициалы. (В черновиках совпадают даже инициалы их отчества: Симеонович — Сергеевич.) Робовшика и поэта роднит и общая московская топография: Басманная и Разгуляй, откуда пробовшик после 17 лет переезжает в новое жилище, — все это места детства самого Пушкина. А перевозит Адриан свои пожитки, в том числе и вывеску с «дорожным Амуром», в новый домик на Никитской, где и для Пушкина начнется новый жизненный этап уже под «вывеской» Гименей. Настораживает и год 1799: у Шекспира пробокопатель начал свою профессию в год рождения Гамлета; Адриан же начинает свою в год рождения Пушкина. Прибавим к этому, что в юности Пушкин раздвигал с мрачным Прохоровым даже профессию: все арзамасцы, как известно, были «пробокопателями», и в их обязанности входило (кроме поедания арзамасских гусей) отпевать и хоронить в своих творениях «трупы» членов «Беседы любителей русского слова». Итак, в мастерской пробовшика Адриана, под вывеской «дорожного Амура с опрокинутым факелом» сам Александр Сергеевич (арзамаская кличка Сверчок) продолжает исполтшика заниматься своим веселым арзамасским ремеслом¹⁴.

Для полной симметрии бодинских переключек было бы желательным отыскать и в «Маленьких трагедиях» аналогичный автобиографический штрих. Как мне кажется, Пушкин прописал свои инициалы густыми черными чернилами под самой жуткой картиной «Маленьких трагедий». Дикое весе-

лье «Пира во время чумы» вдруг прерывает «стук колес»: «Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею». «Эта черная телега Имеет право всюду разъезжать» и свободно пересекает границы яви и сна:

Ужасный демон

Приснился мне: весь черный, белоглазый...

Он звал меня в свою тележку. В ней

Лежали мертвые — и лепетали

Ужасную, неведомую речь...

Негр в английской драме Вильсона — это, конечно, выходец из колоний, но в русском контексте — не автобиографический ли это намек на эфиопское происхождение самого автора, распоряджающегося жизнью и смертью своих героев? Если согласиться с этим предположением, получается, что в двух ключевых бодинских текстах «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» сам Пушкин успешно выступил в роли пробовшика. А в трагедии, пусть даже «маленькой», последнее слово, как известно, принадлежит именно пробовшику: «Уберите трупы!»

Вальсингам, Пушкин, Данте

Но у Пушкина, разумеется, куда больше общего с Вальсингамом, чем с могильщиком, хотя тот и негр. Подобно могильщику, Вальсингам и Пушкин бесстрашны перед лицом смерти. К тому же оба они поэты: «Гимн Чуме» — первая проба пера Вальсингама. Как и Вальсингам, Пушкин «отдал первые свои рифмы колушеству»¹⁵, и оба поэта, ощущая присутствие и недоступность веры, прошли через «искус „афеизма“»¹⁶. Пушкин умел предавать с неповторимой непосредственностью состояние души, когда «ум ищет божества, а сердце не находит», и человек, страдая «узости враг спасения», приходит поневоле к убеждению, что он «напрасно бежит к сионским высотам»¹⁷. Но Вальсингам отказался от веры предков, прогнал священника и проклял тех, кто за ним пойдут. Несмотря на земное и метафизическое бесстрашие Вальсингама, пушкинские слова про «Героя»: «Клянись, тот будет Небу другом, Каков бы ни был приговор Земли слепой» — вряд ли применимы к отступнику от неба Вальсингаму.

В отличие от Председателя — и это относится особенно к 1830-м годам — Пушкин не раз прерывал свой «пир во время холеры», чтобы сделать выписки из «Жития Преподобного

Саввы Игумена» (1830), из «Четырех-Миннеи» (1831?) или что-бы осмыслить христианство как «величайший духовный и политический переворот нашей планеты... В сей-то духовной стихии исчез и обновился мир» (1830)¹⁸. В заметке 1832 г. «О Путешествии к св. местам Д. Н. Муравьева» Пушкин «с умилением и невольной завистью» пишет о паломничестве молодого русского в Святую Землю. На протяжении всей жизни Пушкин мучился сознанием собственной преходности и чутько олушдал присутствие трансцендентального:

Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждавшей души,
Я здесь остался б — наслажденье
Вкушать в неведомой тиши.

(1833)

В последнее лето жизни Пушкин еще раз отдается этому «влечению». В великопостном «Каменноостровском пикле» поэт смиряет свою непокорную языческую музу перед «вельнем Божьим»¹⁹. За способность прерывать «звон струны лукавой» и в «священном ужасе внимать арфе Серафима» поэту многое прощалось как мирской, так и церковной властью. Вальсингам же остается гордым и нераскаянным. Как некогда Иван Карамзев, он возвращает свой и — что еще страшнее — их общий билет в христианское бессмертие, зная быть может, как это знал Великий Инквизитор, что «за гробом обретут лишь смерть».

Невольно спрашивается, неужели Пушкин, так щедро призывавший «миглость к падшим», покинул Вальсингаму в такую минуту на краю «бездны мрачной»? На Пушкина это мало похоже. Напомним, что осмеянный старик Священник, покладая пирующих, все-таки благославил отступника: «Спаси тебя господь. Прости, мой сын». Не менее обнадеживающим мне представляется и другой момент: потустороннее явление мертвой жены Матильды. В драме Вильсона Edward Walsingham обращался к «дивной звезде» («most glorious star»), симболизирующей Матильду. Пушкин же пропустил эти строки, и его Вальсингам предстает перед реальной Матильдой:

Где я? Святое чадо светел вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не досягнет уже...

Возможно, что Матильда, «познавшая рай» не только на земле в объятиях мужа («знала рай в объятиях моих»), но и там, куда руки его «не досягнут уже», напоминает своему поэту,

что рай для него все еще недоступен. Явление Матильды, таким образом, ставит Вальсингаму перед выбором между «тьмой кромешной» и призывом «святого чада света». Посмотрим, чем можно обосновать такое предположение.

В песне 28 «Чистилища» Данте, уже без сопровождения Вергилия, подходит к реке Лете и видит на том берегу женщину, чей «лучистый взгляд светлее зора влюбленной Венеры». Здесь начинается Земной рай, а имя лучезарной женщины Матильда. Матильда проводит поэта через Лету, «снимающую память земных согрешений», а затем по просьбе Беатриче ведет его к источнику реки Эвное, «дарующей память всех благих свершений». Очищенный таким образом поэт готов войти в истинный Рай («Чистилище» 28, 31, 33)²⁰.

Разумеется, пушкинский Вальсингам не восклицает «Осанна!», но видение Матильды и благословение Священника не остаются без воздействия. В заключительных строках последней «Маленькой трагедии» мы находим отступника не на коленях, разумеется, но в глубоком молчании, о содержании которого мы можем только догадываться: «Пир продолжается. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость».

Нам, конечно, не узнать, как Вальсингам предстанет перед лицом смерти (тем более что в отличие от нас литературные герои бессмертны), зато мы знаем, как его создатель вел себя в подобную минуту. На смертном одре Пушкин исповедался, простил своего убийцу, причастился и «умер христианном» даже без напутствия императора (см.: письмо Вяземского Давыдову, 5 февраля 1837). А вот что рассказал о его последних минутах исповедник отец Петр, отпустивший душу раба Божия Александра:

Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, когда я скажу, что для себя самого желалю такого конца, какой он имел²¹.

Царь разрешил христианское погребение, запрещенное дуэлянтам, и поэт был похоронен рядом со своей матерью в Святогорском монастыре.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Пушкин закончил «Пир во время чумы» 6 ноября, но первоначально в Белом автографе стояла помета «ноября 6», исправленная затем на «8». Болдинский старожил Иван Васильевич Киреев, вспоминал «День печали»: «В день общего поминовения — ежегодно 5 ноября... лоп отслужит обедню, потом идет

на кладбище и у центрального кладбищенского креста служит общую панихиду. После нее люди расходятся на могилы своих родных и там ожидают пола, чтобы он отслужил панихииду у каждой могилы». А про «День веселья» Киреев вспоминал: «Ежегодно боляницы праздновали день Михаила Архангела. Это храмовый праздник. К празднику все население — богатые и бедные — варили брагу и пина на поташных заводах... Каждый мужик, если задумает женить сына или выдать дочь замуж, свадьбу должен устроить на Михайлов день, 8 ноября по старому стилю...» См.: Фомичев С. А. Дата в автографе «Пира во время чумы» // Незаданный Пушкин 2. СПб: Нотабене, 1997. С. 47–49.

² Вем А. Л. О Пушкине. Ужгород, 1937. С. 97.

³ The Poetical Works of Milton, Bowles, Wilson, and Barry Cornwall: Complete in One Volume. Paris, 1829.

⁴ Завяно, что этот «неиспользованный» текст Вильсона («The Song on the Plage») содержится в миниатюре сюжеты «Скупого рыцаря» и «Каменного гостя»:

The miser sickens at his hoard,
And the gold leaps to its rightful lord.
And many widow slyly weeps
O'er the grave where her old dotard sleeps,
While love shines through her moisten'd eye
On yon tall stripling gliding by.

(*Скупой чажнет над своей громадой, / А злато уходит к законному наследнику. / Не одна вдова притворно рыдает / На могиле старика-рогача, / А любовь уже поглядывает сквозь слезы / На стройного проезжего молотца.*)

⁵ Легонись жизни и творчества Александра Пушкина. В 4 т. / Сост. Н. А. Тархова. М., 1999. Т. 3. С. 1132.

⁶ Там же. Т. 1. С. 314–315.

⁷ Благой Д. Д. Бездна души (Маленькие трагедии) // Творческий путь Пушкина. 1826–1830. М., 1967. С. 35.

⁸ Тьркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина 2. Париж, 1929. С. 231. См. также известную автокарикатуру Пушкина-наездника.

⁹ См.: Vethea, D., Davitov S. Pushkin's Satiric Cupid: The Poetics and Parody in The Tales of Belkin // Publications of the Modern Language Association 96 (1981). P. 8–21.

¹⁰ См. об этом мою статью: Тайны счастья и гроба // Континент (в печати).

¹¹ Пушкин написал стихотворение «Герой» в Болдине 31 октября 1830 г., но фактивные дата и место, которые он поставил под этим стихотворением («29 сентября, 1830, Москва»), отмечают день возвращения императора в Москву.

¹² См.: Щеголев П. Е. Пушкин и мужики. М., 1928. С. 91.

¹³ Лотман Ю. М. Типологическая характеристика реализма позднего Пушкина // В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988. С. 144; Беляк Н. В., Виролайнен М. Н. «Маленькие Трагедии» как культурный эпос новоевропейской истории (Судьба личности — судьба культуры) // Пушкин: Исследования и материалы. 1991. Т. XIV. С. 79.

¹⁴ Об арзамасской подоплке «Гробовщик» см. мои статьи: Pushkin's Metu Undertaking and The Coffinmaker // Slavic Review. 1985. 1. P. 30–48; Веселые

гробовщика: Пушкин и его «Гробовщик» // Пушкин и другие / Под ред. Кошелева В. Д. Новгород, 1997. С. 42–51.

¹⁵ Айхенвальд Ю. Пушкин. М., 1908. С. 98–99.

¹⁶ Беляк, Виролайнен. Указ. соч. С. 79.

¹⁷ Пятаты из стихотворений «Безверие» (1817), «Странник» (1835) и «На прасно я бегу...» (1836).

¹⁸ «О втором томе *Истории русского народа* Полевого».

¹⁹ См. об этом мою статью: Последний лирический диалог Пушкина (1836): Опыт реконструкции // *Revue des études slaves*. XIX (1987). 1–2. P. 157–171; расширенную ее версию см.: Русская лигеатура. 1999. № 2. С. 86–108.

²⁰ См.: Новикова М. Живые, мертвые, бессмертные // Пушкинский космос: Языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина. М., 1995. С. 230–254.

²¹ Вересаев В. Пушкин в жизни. М., 1936. С. 403.